

РЕПОРТАЖИ

Евгений Замятин. Мы.

ЗАПИСЬ 9-ая

Конспект: ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ. ЧУГУННАЯ РУКА.

Торжественный светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрустально-неколебимое, вечное — как наше новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству — спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях — годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один — стоял на ступеньках налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с номером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки — выходят огромными, приковывают взор — заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени — еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинувшись поднятой руке, подошел к Кубу номер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок — уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей (это, конечно, мы) —

«И впряг огонь в машину, сталь

И хаос заковал законом».

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец — «огонь с цепи спустил на волю», и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может? Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые, — острым топором — хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить...

R-13 бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости) — опустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо — острый, черный треугольник — и тотчас же стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, наверх, к Машине. Там — третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, — преступник идет, медленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это, должно быть, огненный захватывающий вихрь — быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически-чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившаяся в сердце.

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И, тем не менее, это всякий раз было — как чудо, это было — как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти женских номеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы.

По старому обычаю — десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун — и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря — было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, — знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

Владимир Гиляровский

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ (От наших корреспондентов)

Клин. 7 августа

К вечеру 6 августа сотни москвичей наполнили Николаевский вокзал. Обыкновенно пустующий в это время года дорогой курьерский поезд наполнился пассажирами, взявшими билеты до Клина, одного из лучших пунктов для наблюдения солнечного затмения. Но далеко не все поместились в вагоны. И после отхода поезда все столы громадной буфетной залы были заняты, негде было найти места сесть. Следующий, пассажирский, поезд также битком был набит пассажирами: даже дамы стояли на платформах, к крайнему удивлению поездной прислуги. Пришлось собрать еще экстренный поезд до Завидова, и в этом только нашлись места для всех желающих наблюдать затмение. Поезд отошел около половины двенадцатого и часа через три был в Клину. Я с трудом нашел место в одном из вагонов, битком набитых публикой. Уснуть, даже прилечь, места не было, и пришлось целую ночь не спать. Наконец, поезд остановился в Клину. Большинство пассажиров вышли, остальные уехали на следующую станцию, Завидово.

Я вошел в вокзал. Кругом стоял гомон невообразимый: стук шагов, движение мебели, бряцание посуды, разговоры -- все это слилось в один общий гул. Около столов места брались с бою: если кто-нибудь вставал с места и уходил, оставляя на стуле свою вещь, -- вещь эта сбрасывалась, и место бесцеремонно занималось. Измученные, сбитые с ног лакеи не успевали исполнить требований и половины пассажиров. Последние сами с тарелками в руках шли на кухню, заказывали себе кушанье и собственноручно приносили его в зал.

В самый разгар этого ужина-завтрака кто-то громко крикнул, что "шар готов", и толпа начала понемногу сбывать. Вслед за другими я отправился к шару. Было около трех с половиной часов, еще довольно темно. Впрочем, на востоке небо было чисто и виднелись розовые золотистые отблески зари на узких грядах легких облаков. Перейдя полотно железной дороги, вправо от линии есть пустырь, между линией дороги, станцией и Ямской слободой гор. Клина. Этот пустырь, посредине которого имеется прудик, называется Ямским полем. Подле прудика в виде огромной круглой массы, слегка движущейся, покачивался чуть заметно во тьме воздушный шар, напоминавший собой издали голову в "Руслане и Людмиле". Чем ближе мы подходили к шару, тем выше и выше он вырастал перед нами.

Вокруг него стояла загородка, а с правой стороны, с юга, его защищал от ветра занавес, из брезентов. На противоположной стороне стояли аппараты для приготовления водорода для наполнения шара. Это целая баррикада. На платформе из старых шпал установлено три чана для смеси серной кислоты с водой. На чанах помещается холодильник для охлаждения газа и рядом с ним два химических сушителя, наполненные хлористым калием. Внизу платформы расположено 5 медных генераторов, наполненных железными стружками. От них прокопана канава, по которой стекает в яму железный купорос. На платформе стоят человек десять солдат в прожженных кислотой рубахах и мундирах. Солдаты работают частью около котлов, частью накачивают насосом воду из пруда. Газ, идущий из генераторов в холодильники, поступает потом в сушитель, а оттуда уже по резиновому шлангу, совершенно сухой и холодный, поступает в шар. Шар привезен сюда со станции еще накануне, рано утром, и с 11 часов утра 6 августа наполняется газом под руководством механика г. Гарута при помощи нескольких солдат гальванической учебной роты. Весь день вчера и начало ночи на сегодня шар наполняется неудачно. Мешал ветер, ударявший шар о землю и выбивавший из него газ, и мелкий дождь, намачивавший материю. Лишь с 12 часов ночи шар начал наполняться как следует, и, когда я пришел, был уже почти полон. Только нижняя часть его лежала на земле, раздуваемая ветром, и держалась на веревках от сетки, прикрепленных к мешкам с балластом.

Становилось светлее, и шар ясно был виден.

Он напоминал собой по цвету и форме огромный, желтый бычачий пузырь, оплетенный веревочной сетью. Низ все еще не наполнился газом. С одной стороны шара крупными буквами написано "Русский", с другой мелко: Paris Lachambre. Как мы уже сообщали, шар сделан из бумажной материи, пропитан не льняным маслом, как это делалось прежде, а гуттаперчевым лаком. Он имеет 640 кубических метров емкости и может поднять, считая собственный вес, балласт и сидящих, до 50 пудов, если сух и хорошо наполнен. Около шара стояла плетенная из камыша корзина для воздухоплатателей, с обручем сверху, к которому прикрепляются веревки сети. На корзине прикреплен железный якорь -- "пятилапая кошка", сделанная по системе г. Кованько. Собравшаяся публика с любопытством толпилась около шара. Часов с четырех публика все продолжала прибывать с вокзала из города и соседних слобод и деревень. Ямское поле, всегда пустынное, обратилось в какой-то табор. Вокруг шара -- густое кольцо народа, далее, группами, зрители расположились по пригоркам и на поляне, разместясь на скамьях и стульях, которые то и дело возами подвозили из города и слобод. Владельцы скамей умело воспользовались моментом и уступали скамьи на время затмения по рублю и более за штуку. Еще далее, кольцом же, кругом публики стояло множество экипажей, на которых сидели разряженные дамы и кавалеры. Это -- подгородные помещики и купцы. Около них стояло три-четыре столика с самоварами, с молоком и водами. На возвышениях со всех сторон шара фотографы расставили камеры, стояли телескоп и подзорные трубы, обращенные к востоку. Приехали 6 членов московского Общества велосипедистов-любителей, сделав накануне все расстояние между Москвой и Клином, 84 версты, на велосипедах.

Публика была, видимо, не весела, молчалива. Кое-где слышались отрывочные слова. Особенно удрученное состояние духа замечалось между крестьянами и клинскими мещанами. Как говорили, многие из них накануне исповедались в грехах, надели чистое белье и приготовились к смерти, ожидая светопреставления или землетрясения. Все молчало. Оживлял сцену лишь бегавший с прибаутками торговец трубками для наблюдения затмения, появляющийся всюду и кричавший: "Покупайте, господа, торопитесь, затмение будет через минуту!" Его появление вызывало улыбку, и он торговал прекрасно. Да еще солдаты местной команды развеселили, или скорее удивили на момент публику: во время тишины, в исходе пятого часа, вдруг послышалась солдатская песня. Это шла местная команда и отхватывала лихую песню...

Наконец половина шестого. Солнце давно уже взошло, но его все не видно за туманом, который все становится гуще и гуще. Подул с востока ветерок, туман слегка начал исчезать, показались яснее избы Ямской слободы, и публика как будто повеселела. Но признаков, солнца не было... Стали даже сомневаться, полетят ли Менделеев и Кованько в шаре.

Чувствуя, что погода не прояснится, надежды всех обратились на шар.

Наконец явился г. Кованько. Это молодой, высокого роста красивый поручик, в форме лейб-гвардии саперного батальона. Он подошел к шару и приказал крепить корзину. Было 6 часов утра.

-- Сдавай! -- раздалась звучная команда, и человек десять солдат взяли за балластные мешки, державшие шар на земле.

-- Шаг вперед!

Солдаты сделали шаг вперед, шар качнулся в воздухе и рванулся кверху.

-- Два шага вперед! -- и еще выше рванулся шар. Балласт и солдаты уже очутились под шаром, поднявшимся сажени на две. Еще десять солдат ухватились за боковые веревки наружной сети, за "оттяжки". Начали прикреплять корзину. В нее положили инструменты: барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь, сигнальную трубу и другие вещи, необходимые для

наблюдений. На шаре предполагалось зарисовать корону солнца, наблюсти движения тени и произвести спектральный анализ.

К 6 часам 20 минут шар совершенно готов, хотя видно, что он намок, тяжел, несмотря на двойное количество (1200 куб. метров) против требуемого потраченного газа.

Становится темнее. Пошел мелкий, чуть заметный дождь; начался ветер, красиво покачивавший шар.

Ждали профессора Менделеева. В 6 часов 25 минут раздались аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой человек, с симпатичным, располагающим лицом. Это и был профессор. Он одет в широкополой шляпе, длинном, подпоясанном драповом коричневом пальто, в охотничьих сапогах. Он поздоровался с Кованько и Гарутом и начал готовить инструменты.

-- Деша получена? -- спросил он одного из присутствовавших, члена технического Общества.

-- Да, сегодня ночью; вот она.-- И спрашиваемый прочел следующую депешу из главной Петербургской физической обсерватории: "На прояснение надежда слаба. В Псковской губернии стационарный минимум. Ветер ожидается южный. Срезневский".

Шар так и рвался под ветром. Г. Менделеев и Кованько сели в корзинку, попробовали,-- шар не поднимается, он слишком намок.

Тогда профессор Менделеев предложил подняться один, видя, что двоих шар не поднимет. Публика была поражена предложением почтенного профессора, отваживающегося совершить свое первое воздушное плавание без управителя шаром.

Г. Кованько был принужден согласиться на предложение профессора, вышел из корзины и передал г. Менделееву тоненькую бечевочку от клапана шара.

Последний раз три попробовал бечевку, выслушал объяснение Кованько, как управлять шаром, и начал прощаться. Первым подошел к нему профессор Краевич. Они поцеловались. Затем подошли дети профессора. Потом стали подходить знакомые, все жали руки. Профессор улыбался и был, по-видимому, спокоен. Он попросил перечсть опять телеграмму и крикнул; "Дайте мне нож!" Ему Кованько подал складной ножик.

-- До свиданья, друзья! -- попрощался профессор, громко скомандовал "прочь", и шар, отпущенный солдатами, плавно поднялся вверх и полетел на север, при громком "ура" и аплодисментах присутствующих.

В это время стало более и более темнеть.

Шар поднимался серой массой, как в густом тумане.

Видно было затем, как воздухоплаватель начал высыпать быстро один за другим мешки балласта, и шар, освобожденный от груза, ринулся вверх и исчез в темноте, в тени затмения.

Это было в 7 часов 46 минут.

Не более минуты шар был виден; полное затмение наступило вдруг.

И неожиданный полет г. Менделеева одного, без управителя шаром, и трогательная сцена прощания с ним, и исчезновение шара в темноте, и мрак, моментально охвативший землю, удручающе подействовали на всех.

Как-то жутко стало.

С несколькими дамами сделалось дурно.

Толпа крестьян, за минуту перед тем мне в лицо говоривших с усмешкой, что "уж господа больно хитры, раньше знают про затмение, и что никакого затмения не будет", ринулась почему-то бежать от места, где был шар, к деревне.

Смолкло все. Лошади стояли смирно и продолжали по-прежнему жевать траву. На собак тоже мрак не произвел никакого действия. Они были спокойны.

Я оглянулся по направлению станции. Там горели огни платформы и паровозов ярко, как в темную ночь. Потом огни начали краснеть, исчезать, забелелся дневной свет и так же быстро день сменил ночь, как ночь сменила день.

Все молчали. Прошло не менее 10 минут, как начали расходиться. День продолжался серый, туманный.

Владимир Гиляровский
ЛЮДИ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ ((Вечер смеха и забавы))

*За правду не сердятся.
Русская поговорка*

Реферат С. В. Потресова имел успех несомненный.
Все московские "Скорпионы" показали вторичной публике и заговорили.
Не будь этого реферата, никто бы их не видел и не слышал...
А вышло интересно.
Реферат о "символистах" прочитан.
Объявлены, после перерыва, прения.
Сцена наполнилась. Налево сели гг. К. Д. Бальмонт и В. Я. Брюсов -- солидные, серьезные.
Напротив, в глубине, на семи стульях поместились семь "новых поэтов", семь "подбрюсков".
Г. Брюсов начал опровергать референта, указавшего на пристрастие "новых поэтов" к самообожанию, любви к грехам и эротомании. Он доказывал, что новая поэзия -- это свобода творчества и отвращение к пошлости. Он говорил, что новые поэты не любят скуки, пошлости и серединности и протестовать против новой поэзии -- протестовать против свободы творчества.
Против обвинения в самообожании, эротомании и любви к грезам г. Брюсов не возражал.
После речи ему аплодировали.
Вышел волосатый "новый" поэт г. Волошин, заявивший, что за последние годы он не читал ни одной книги русской и что символическая поэзия родилась в 1857 году в Париже, в кабачке Черной Кошки.
Третий "подбрюсок", г. Шубин, вынул из кармана книжку и прочитал довольно безумное предисловие г. Пшебышевского, выругав всех нас за "буржуазный мозг, за плебейскую боязнь быть обманутыми".
Четвертый вышел "подбрюсок" лет 17, типичнейший, изломавшийся и... простите... развязный. Перевирая русские слова и уродуя их легким акцентом, подпирая бока руками, "подбрюсок" г. Шик начал упрекать референта в незнании заграничных и "новых поэтов", неизвестных миру, и говорил это таким тоном, что публика и возмущалась, и хохотала неудержимо.
-- Ваш смех несколько не оскорбляет меня! -- злобно бросил публике г. Шик.
Публика хохотала.
-- Будем терпеть до конца! -- крикнул г. Шик, но не пришлось ему терпеть; публика кричала: "Вон его! вон с эстрады!"
И с шиком и свистом ушел г. Шик.
Место его сменил "подбрюсок" печального образа г. Рославцев.
Длинный, с волосами-проводами, напоминающий своей фигурой серба-огнепоклонника или обруселого факира...
Печально отметив факт изгнания г. Шика, эта печальная фигура говорила печальные слова...
За ним г. Соколов доказывал, что новую поэзию могут понимать только те, у кого в душе есть соответственные струны...
-- А всем нас не понять,-- закончил он...
Сидевший в первом ряду д-р Савей-Могилевич крутил свой ус и напоминал мне того самого француза в "Русских женщинах", про которого сказал Некрасов:
*И лишь крутил свой длинный ус,
Пытливо щуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер...*
Психиатра этим не удивишь!
Он принадлежит к числу понимающих...

А вот еще г. Хессин, сильно акцентируя, непрошено стал защищать гг. Бальмонта и Брюсова и закончил словами: "мы изломанные люди".

Сознание -- половина вины, и ему за правду "похлопали".

-- Очередь г. Бугаева! -- заявляет председатель! Что-то худенькое, истощенное поднимается со стульев и уныло, как голос из оврага, умоляюще вещает:

-- Я отказываюсь!

Из первого ряда вылетает на эстраду г. Курсинский и заявляет:

-- Два слова -- не более!

Публика радостно вздохнула: чем короче, тем лучше!

И жестоко ошиблась!

Этого "оратора" за его неприличные выходки по адресу шестидесятых годов останавливает даже председатель...

-- Чехов,-- вещает он,-- поэт пошлости и пессимизма, разрушитель идеалов шестидесятых годов!

И этот новый "разрушитель", выругав по пути, по примеру предшественников, Макса Нордау, ушел с шиком...

После ораторов гг. Баснина и Быховского, вызвавших бурю аплодисментов, на эстраду полезло что-то жалкое, истомленное и стало просить слова.

Оно появилось на эстраде.

Уши врозь, дугою ноги,

И как будто стоя спит!

Оно говорило, говорило -- и все, что осталось в памяти у публики, -- это новое слово: "зловещность"!

Я видел этих "подбрюсков" в зале, за ужином.

Стол 13 "скорпионов" стоял в углу, где потемнее.

Пили и ели, как все люди едят, и так же, как все, ругали лакеев, долго не подававших кушанье.

-- Ишь ты! -- сказал бы Лука Горького, видя, как жадно едят капусту эти певцы лепестков невиданных растений...

Я видел "подбрюсков" после ужина, внизу, в карточной комнате...

О, если бы я не видел их в карточной комнате -- я не написал бы ни слова об этом вечере!

Ни слова бы, уважая мнение всякого человека, уважая всякие порывы творчества, даже всякое заблуждение человека, если оно от сердца!..

В карточных комнатах четвертое измерение исчезло, а ярко выступили из "подбрюсков" их буржуазные мозги с плебейской боязнью быть обманутым...

Они раскрыли свои карты!..

-- Ишь ты!-- сказал бы Лука...

Я бы никогда не сказал слова "подбрюсок".

И теперь я не говорю ни слова ни о К. Д. Бальмонте, ни о В. Я. Брюсове.

Но мне их жаль в их последователях, в этих именуемых людьми, которые пыжятся, чтобы показаться заметными, чтоб чем-нибудь выделиться.

А. С. Пушкин.

Руслан и Людмила, песнь V (отрывок)

Блажен, кого под вечерок
В уединенный уголок
Моя Людмила поджидает
И другом сердца назовет;
Но, верьте мне, блажен и тот,
Кто от Дельфиры убегает
И даже с нею незнаком.
Да, впрочем, дело не о том!
Но кто трубил? Кто чародея
На сечу грозну вызывал?
Кто колдуна перепугал? Руслан.
Он, мезтью пламенея,
Достиг обители злодея.
Уж витязь под горой стоит,
Призывный рог, как буря, воет,
Нетерпеливый конь кипит
И снег копытом мочным роет.
Князь карлу ждет. Внезапно он
По шлему крепкому стальному
Рукой незримой поражен;
Удар упал подобно грому;
Руслан подьемлет смутный взор
И видит – прямо над главою –
С подъятой, страшной булавою
Летает карла Черномор.
Щитом покрывшись, он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся;
Но тот взвился под облака;
На миг исчез – и свысока
Шумя летит на князя снова.
Проворный витязь отлетел,
И в снег с размаха рокового
Колдун упал – да там и сел;
Руслан, не говоря ни слова,
С коня долой, к нему спешит,
Поймал, за бороду хватает,
Волшебник силится, кряхтит
И вдруг с Русланом улетает...
Ретивый конь вослед глядит;
Уже колдун под облаками;
На бороде герой висит;
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской;
От напряженья костенея,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой.
Меж тем, на воздухе слабея

И силе русской изумясь,
Волшебник гордому Руслану
Коварно молвит: «Слушай, князь!
Тебе вредить я перестану;
Младое мужество любя,
Забуду все, прощу тебя,
Спущусь – но только с уговором...»
– «Молчи, коварный чародей! –
Прервал наш витязь, – с Черномором,
С мучителем жены своей,
Руслан не знает договора!
Сей грозный меч накажет вора.
Лети хоть до ночной звезды,
А быть тебе без бороды!»
Боязнь объемлет Черномора;
В досаде, в горести немой
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясает:
Руслан ее не выпускает
И щиплет волосы порой.
Два дни колдун героя носит,
На третий он пощады просит:
«О рыцарь, сжался надо мной;
Едва дышу; нет мочи боле;
Оставь мне жизнь, в твоей я воле;
Скажи – спущусь, куда велишь...»
– «Теперь ты наш: ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй русской силе!
Неси меня к моей Людмиле».

Смиренно внемлет Черномор;
Домой он с витязем пустился;
Летит – и мигом очутился
Среди своих ужасных гор.
Тогда Руслан одной рукою
Взял меч сраженной головы
И, бороду схватив другою,
Отсек ее, как горсть травы.
«Знай наших! – молвил он жестоко, –
Что, хищник, где твоя краса?
Где сила?» – и на шлем высокий
Седые вяжет волоса;
Свистя зовет коня лихого;
Веселый конь летит и ржет;
Наш витязь карлу чуть живого
В котомку за седло кладет,
А сам, боясь мгновенья траты,
Спешит на верх горы крутой,
Достиг, и с радостной душой
Летит в волшебные палаты.

М. Е. Салтыков-Щедрин.

История одного города (отрывок)

Перехват-Залихватский*, Архистратиг* Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

В журнальном тексте "Истории одного города" о Перехват-Залихватском было сказано:

Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. Прозван от глуповцев "Молодцом" и действительно был оным. Имел понятие о конституции. Все возмущения усмирил, все недоимки собрал, все улицы замостил и ходатайствовал об основании кадетского корпуса, в чем и успел. Ездил по городу, имея в руках нагайку, и любил, чтобы у обывателей были лица веселые. Предусмотрел 1812 год. Спал под открытым небом, имея в головах бульжник, курил махорку и питался кониною. Спал до шестидесяти деревень, и во время вояжей порол ямщиков без всякого послабления. Утверждал, что он отец своей матери. Вновь изгнал из употребления горчицу, лавровый лист и прованское масло и изобрел игру в бабки. Хотя наукам не покровительствовал, но охотно занимался стратегическими сочинениями и оставил после себя многие трактаты. Явил собой второй пример градоначальника, умершего на экзекуции (1809 г.).

ОЧЕРКИ

Н. В. Гоголь. Старосветские помещики

...Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; все время правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запираании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила готовить еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.

...После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

- А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?
- Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?
- Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

...За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибами, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

- Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?
- Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибами и подлейте к ней.
- Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, как оно будет.

... После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

- Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

...Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:

- Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?
- Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?
- И то добре, — отвечал Афанасий Иванович.
- Или, может быть, вы съели бы киселику?
- И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо.

... Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке.

...Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

— Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

— Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, — говорил Афанасий Иванович.

— А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?

— Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! Впрочем, чего ж бы такого съесть?

— Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами.

— Пожалуй, разве так только, попробовать, — говорил Афанасий Иванович.

...Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске.

— Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоящая на деревий и шалфей.

Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта — перегнанная на персиковые косточки; вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и все как рукой снимет, в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало.

...После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всю эту аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок.

— Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами! Солить их выучила меня туркенья, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркенья, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот эти грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки: я их еще в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадлушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще что бывает на нечуй-витере цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею.

— Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.

А. С. Пушкин. Домик в Коломне (отрывок)

IX

Усядьяся, муза: ручки в рукава,
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!
Теперь начнем. — Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

X

Дни три тому туда ходил я вместе
С одним знакомым перед вечерком.
Лачужки этой нет уж там. На месте
Ее построен трехэтажный дом.
Я вспомнил о старушке, о невесте,
Бывало, тут сидевших под окном,
О той поре, когда я был моложе,
Я думал: живы ли они? — И что же?

XI

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Станным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.

XII

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию;
Но кто болтлив, того молва прославит
Вмиг извергом... Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость:
Оставим это, — сделайте мне милость!

XIII

Старушка (я стократ видал точь-в-точь
В картинах Рёмбрандта такие лица)
Носила чепчик и очки. Но дочь
Была, ей-ей, прекрасная девица:
Глаза и брови — темные как ночь,
Сама бела, нежна, как голубица;
В ней вкус был образованный. Она
Читала сочиненья Эмина,

XIV

Играть умела также на гитаре
И пела: *Стонет сизый голубок,*
И *Выду ль я*, и то, что уж постаре,
Всё, что у печки в зимний вечерок
Иль скучной осенью при самоваре,
Или весною, обходя лесок,
Поет уныло русская девица,
Как музы наши грустная певица.

XV

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев.

XVI

Параша (так звалась красotka наша)
Умела мыть и гладить, шить и плесть;
Всем домом правила одна Параша,
Поручено ей было счеты вести,
При ней варилась гречневая каша
(Сей важный труд ей помогала несть
Стряпуха Фекла, добрая старуха,
Давно лишенная чутья и слуха).

XVII

Старушка мать, бывало, под окном
Сидела; днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.
Дочь, между тем весь обегала дом,
То у окна, то на дворе мелькала,
И кто бы ни проехал иль ни шел,
Всех успевала видеть (зоркий пол!).

XVIII

Зимою ставни закрывались рано,
Но летом дóночи растворено
Всё было в доме. Бледная Диана
Глядела долго девушке в окно.
(Без этого ни одного романа
Не обойдется; так заведено!)
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка — на луну еще смотрела

XIX

И слушала мяуканье котов
По чердакам, свиданий знак нескромный,
Да стражи дальний крик, да бой часов —
И только. Ночь над мирною Коломною
Тиха отменно. Редко из домов
Мелькнут две тени. Сердце девы томной
Ей слышать было можно, как оно
В упругое толкалось полотно.

XX

По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилась перед толпою
У крылоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

XXI

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! всё гляжу направо,
Всё на нее. Параша перед ней
Казалась, бедная, еще бедней.

XXII

Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой. Но она
Молилась богу тихо и прилежно
И не казалась им развлечена.
Смиренье в ней изображалось нежно;
Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.

XXIII

Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал,
Невольный взор они-то привлекали...
Но это знать графиня не могла
И, верно, в список жертв меня внесла.

XXIV

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам, — она была несчастна.
Блаженнее стократ ее была,
Читатель, новая знакомка ваша,
Простая, добрая моя Параша.

XXV

Коса змией на гребне роговом,
Из-за ушей змиею кудри русы,
Косыночка крест-накрест иль узлом,
На тонкой шее восковые бусы —
Наряд простой; но пред ее окном
Всё ж ездили гвардейцы черноусы,
И девушка прельщать умела их
Без помощи нарядов дорогих.

XXVI

Меж ими кто ее был сердцу ближе,
Или равно для всех она была
Душою холодна? увидим ниже.
Покаместь мирно жизнь она вела,
Не думая о балах, о Париже,
Ни о дворе (хоть при дворе жила
Ее сестра двоюродная, Вера
Ивановна, супруга гоф-фурьера).

М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного города (отрывки)

...Глулов, беспечный, добродушно-веселый Глулов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились...

...В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глулов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, зловещий свет.

...В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту.

...Не успели глуловцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в бостон, извлекла из ножен шпагу покойного винного пристава и, напоив, для храбрости, троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Оттоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! теперь нам, братцы, вина будет вволю!»

...Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри.

...кривизна улиц ...

... великое множество закоулков...

...В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша, Дунька Толстопятая, а в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка Ноздря."

...на выезде из города, в слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова.

...Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкою, а на противоположном конце города расположилась слобода Пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако ж, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть и которые каждая сторона формулировала так: «Кабы не ваше (взаимно) тогда воровство, гуляли бы мы и о сю пору по матушке-Москве». В особенности выступали наружу эти счеты при косье лугов. Каждая слобода имела в своем владении особенные луга, но границы этих лугов были определены так: «в урочище, „где Петру Долгого секли“ — клин, да в дву потому ж».

...Так продолжалось до пяти часов, когда народ начал расходиться по домам, чтоб принарядиться и отправиться ко всеобщей. В исходе седьмого в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа.

...Не успели пушкеры опаматоваться от этого зрелища, как их ужаснуло новое: загудели на соборной колокольне колокола, и вдруг самый большой из них грохнулся вниз. Бросились и туда, но тут увидели, что вся слобода уже в пламени, и начали помышлять о собственном спасении. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретила с общим смятением. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанам, наблюдавшим за пожаром по ту сторону речки, казалось, что пожар все рос и зарево больше и больше рдело.

...Около полдня, у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат.

...Скажем только, что два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы: Болотная и Негодница, названная так потому, что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались.

...Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы: Дворянскую и Большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист.

...В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела она вся, яко крин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской, и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».

...На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол.

...Как бы то ни было, но назначение Микаладзе было для глуповцев явлением в высшей степени отпадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим» злонравием, но считал себя человеком убеждения (летописец везде, вместо слова «убеждения», ставит слово «норов»), и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одёжи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.

Казалось бы, это ли не жизнь! А между тем все крутогорские чиновники, и в особенности супруги их, с ожесточением нападают на этот город. Кто звал их туда, кто приклеил их к столь постылому для них краю? Жалобы на Крутогорск составляют вечную канву для разговоров; за ними обыкновенно следуют стремления в Петербург.

-- Очаровательный Петербург! -- восклицают дамы.

-- Душка Петербург! -- вздыхают девицы.

-- Да, Петербург... -- глубокомысленно отзываются мужчины.

В устах всех Петербург представляется чем-то вроде жениха, приходящего в полночи; но ни те, ни другие, ни третьи не искренни; это так, *façon de parler* [манера говорить (франц.)], потому что рот у нас не покрыт. С тех пор, однако ж, как двукратно княгиня Чебылкина съездила с дочерью в столицу, восторги немного поохладились: оказывается, "*qu'on n'y est jamais chez soi*" [что там никогда не чувствуешь себя дома (франц.)], что "мы отвыкли от этого шума", что "*le prince Курылкин, jeune homme tout-à-fait charmant, -- mais que ça reste entre nous -- m'a fait tellement la cour*" [Князь Курылкин, совершенно очаровательный молодой человек -- но пусть это останется между нами -- так ухаживал за мной (франц.)], что просто совестно! -- но все-таки какое же сравнение наш милый, наш добрый, наш тихий Крутогорск!"

-- Душка Крутогорск! -- пищит княжна.

-- Да, Крутогорск... -- отзывается князь, плотоядно улыбаясь.

Страсть к французским фразам составляет общий недуг крутогорских дам и девиц. Соберутся девицы, и первое у них условие: "Ну, *mesdames*, с нынешнего дня мы ни слова не будем говорить по-русски". Но оказывается, что на иностранных языках им известны только две фразы: *permettez-moi de sortir* [позвольте мне выйти (франц.)] и *allez-vous en!* [убирайтесь вон! (франц.)] Очевидно, что всех понятий, как бы они ни были ограничены, этими двумя фразами никак не выразишь, и бедные девицы вновь осуждены прибегнуть к этому дубовому русскому языку, на котором не выразишь никакого тонкого чувства.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки (отрывок)

Глеб Успенский. Нравы Растеряевой улицы

В городе Т. существует Растеряева улица.

Принадлежит к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками "караул!", и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и "обглоданное", по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа.

В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того, город славится известным заводом стальных изделий, населившим своими рабочими все Заречье и целую слободу Чулково. Это сторона совершенно особенная; обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров городской стороны, работающих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: "кошкин хвост!" -- говорил один, "огурцом зарезался", -- отвечал другой, и оба с серьезными лицами проходили мимо. От насмешек зареченского мастера, или казюка, как называют их мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изобретены особенные клички, например: "стриюцкий" или "точные ляшки" и проч.

Растеряева улица лежит на городской стороне, но общий колорит рабочего города отразился и здесь. Вот, между прочим, в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, проживает представительница собственно растеряевского мастерства, старая солдатка, "кукольница". Под ее дряхлыми пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, погожие полдни на завалинке ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множество лошадей-свистулек с одними передними ногами. Растеряевские мальчишки запасаются этими свистящими конями и в течение целого года разнообразят смертельно пронзительным свистом свое горестное существование. В таких же лачугах живут сверлильщицы, наждашницы, женщины и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут гармонщики, токари, наводильщики и т. д. На конце улицы, упирающейся в широкое Воронежское шоссе, виднеется квадратное здание из темно-красного кирпича -- самоварная фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице несколько иную сравнительно с другими захолустьями физиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбросанными там и сям. В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, то вперемежку, то сразу вдруг обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы тронул с "перехватом"; жужжание токарного станка -- и надо всем этим, по обыкновению, тихая песня.

В темные зимние вечера, когда бывали обыкновенно везде уже заколочены наглухо ворота и ставни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно выползали большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя -- нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела дня и среди улицы, -- все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают, однако, никакого понятия о том темном горе жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы. (...)

В. Ф. Ходасевич. Мариэтта Шагинян

Было мне двадцать лет. Я жил в Москве, писал декадентские стихи и ничему не удивлялся, предпочитая удивлять других.

Однажды, в Литературно-Художественном Кружке, ко мне подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ. Письмо было приблизительно таково:

"Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян".

Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:

- Это серьезно?

- Вполне.

Я не был знаком с Шагинян, знал только ее в лицо. Тогда, в 1907 году, это была черненькая барышня, усердная посетительница концертов, лекций и прочего. Говорили - пишет стихи. С М., о которой шла речь в письме, Шагинян тоже не была знакома: только донимала ее экзотическими письмами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности "защищать до последней капли крови", - в чем, разумеется, М. не имела ни малейшей надобности.

Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:

- Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями не дерусь. Месяца через три швейцар мне вручил букетик фиалок.

- Занесла барышня, чернявенькая, глухая, велела вам передать, а фамилии не сказала.

Так мы помирились, - а знакомы все не были. Еще через несколько месяцев познакомились.

Потом подружились.

Мне нравилась Мариэтта. Это, можно сказать, была ходячая восемнадцатилетняя путаница из бесчисленных идей, из всевозможных "измов" и "анств", которые она схватывала на лету и усваивала стремительно - чтобы стремительно же отбросить. Кроме того, она писала стихи, изучала теорию музыки и занималась фехтованием, а также, кажется, математикой. В идеях, теориях, школах, науках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-нибудь обуреваема. Так же плохо разбиралась и в людях, в их отношениях, но имела доброе сердце и, размахивая картонным мечом, то и дело мчалась кого-нибудь защищать или поражать. И как-то всегда выходило так, что в конце концов она поражала добродетель и защищала злодея. Но все это делалось от чистого сердца и с наилучшими намерениями.

Неизменно пребывая в экзотическом состоянии человека, наконец-то обретшего истину, она столь же неизменно жалела меня как пребывающего в безвыходных заблуждениях. Качала головой, приговаривала:

- Ах, бедный Владя! Что мне с вами делать?

- Спасибо вам, Мариэтта, но я вовсе не погибаю.

- Нет, вы погибаете. Это очень печально, но это так.

Под конец я перестал спорить: понял, что нравится ей играть, будто я гибну, а она будто это видит, только помочь не может. Так это навсегда и осталось.

Она всегда была от кого-нибудь "без ума". Иногда это были люди вовсе ей незнакомые, как, например, та М., из-за которой мы должны были драться на рапирах. В начале нашего знакомства кумиром был С.В. Потресов-Яблоновский.

- Это изумительный человек, Владя. Надо его знать, как я знаю.

- Я очень уважаю Сергея Викторовича...

- Нет, вы не можете его оценить. Молчите.

- Я...

- Прошу вас, молчите. Вы совершенно погибаете, бедный Владя. Что мне с вами делать?

Труднее всего приходилось мне, когда С.В. Яблоновского сменила З.Н. Гиппиус. Немедленно выяснилось, что я: 1) безнадежно темен в делах религии, 2) поставил своею целью искоренить

христианство и, что всего хуже, 3) злоумышляю против З.Н. Гиппиус лично, так как ее ненавижу. Никаких оправданий Мариэтта не слушала. Не успевал я раскрыть рот - Мариэтта уже обличала меня:

- Опомнитесь, Владя. Подумайте, что вас ждет. Как ужасно, что вы погибли!

Лишь после долгих уверений и покаянных вздохов моих мне было позволено издали посмотреть на коробочку с письмами З.Н. и на ее портрет.

Вдруг, кажется, в конце 1909 года, Андрей Белый сменил З.Н. Гиппиус. Мариэтта не была, или почти не была, с ним знакома. Зато, в зимние ночи, в шубе и в меховой шапочке, которую, кланяясь, снимала она по-мужски, с толщенной дубинкой в руках, Мариэтта часами сживала на тумбе в Никольском переулке, невдалеке от беловского подъезда.

- Представьте, вчера меня приняли за дворника!

Мне позволялось говорить о Белом, пока Мариэтта не познакомилась с ним. С этого дня оказалось, что между ними какие-то такие необычайные отношения "о последнем", что всякое мое приближение к этой теме - кощунство. И опять:

- Владя, вы погибаете!

Безгранично было количество писем к Белому. Непроницаема была тайна их разговоров. Я бывал у Белого, он у меня. Но Мариэтта пуще всего на свете боялась, как бы я с ним не встретился у нее. Нас она принимала порознь - все, что касалось Белого, было окружено мраком и шепотом. Это был вообще почему-то период тайн. Мариэтта снимала комнату в каком-то огромном, зловещем, полуразрушенном особняке, в глубине церковного двора. К ней надо было проходить какими-то кухнями, залами, закоулками, в которых, вероятно, летали летучие мыши. Крыс, во всяком случае, были целые полчища. Старая, грязная, черная, бородатая женщина, цыганка, армянка или еврейка, вечно пьяная, была квартирной хозяйкой. Однажды я постучал в дверь к Мариэтте. Она высунула голову:

- Это вы? Сейчас нельзя. Подождите. Пойдите по коридору, вторая дверь налево. Это чулан. Там темно. Против двери сундук. Сядьте на него и не шевелитесь, а то что-нибудь опрокинете. Я вас позову.

Ощупью нашел дверь, вошел. На сундуке смутно виден какой-то тюк, вероятно - узел с одеждой. Я взобрался на него и сажу. Темно. Вдруг подо мною зашевелилось, и женский пропойный бас произнес:

- Кто там на минэ сидит?

Рекомендоваться в подобных случаях нет никакого смысла. Но я растерялся, посмотрел на свое студенческое пальто и, не слезая с дамы, ответил обще:

- Студент.

Мариэтта пришла за мной. Я рассказал ей о приключении. Она сделала печальное лицо:

- Все это ничуть не смешно. Вы погибли, Владя. Но хуже всего, что Боря (Андрей Белый) тоже погиб. А для вас я устрою елочку.

И устроила. Угощала пряниками, жалела:

- Ничего-то вы, бедняжка, не понимаете.

После Андрея Белого шел Рахманинов. Мариэтта читала мне лекции о музыке, качала головой:

- Бедный Владя, бедный Владя!

За Рахманиновым - Э.К. Метнер. Следовательно, мы говорили о Гёте. Мариэтта убивалась:

- Бедняжка, вы погибаете: вы совсем не так понимаете вторую часть Фауста!..

Так дожили мы до 1911 года - и неожиданно почти потеряли друг друга из виду.

В конце 1920 года, уже в Петербурге, однажды мне показали номер тамошней "Правды" с отвратительнейшим доносом на интеллигенцию, которая, чтобы насолить большевикам, "сама себя саботирует" - припрятывает продукты, мыло, голодает и вымирает назло большевикам, а могла бы жить припеваючи. Подпись: Мариэтта Шагинян.

Через несколько дней встречаю ее. Спрашиваю - как ей не стыдно. Говорю, что пора бы уж вырасти. Она хватается за голову:

- Донос? Ах, что я наделала! Это ужасно! Я только что из Ростова, я ничего не знаю, как у вас тут. Я хотела образумить интеллигенцию, для нее же самой. Все мы в долгу перед народом, надо служить народу. Массы... Маркс... Иисус Христос... Товарищ Антонов...

Выяснилось: на юге она писала патриотические статьи. Но пришли большевики, и она познакомилась с каким-то добродетельным товарищем Антоновым (кажется, так), эдаким большевистским Робеспьером, неподкупным до последней степени. И конечно - сделалась большевичкой. Исполкомские мудрости перепутались в ней с христианством, народничеством и прочим, оставшимся еще от былых времен. О своем фельетоне она сокрушалась:

- Значит, это тактическая ошибка. Но по существу я права. Ах, бедный Владя, как жаль, что вы еще не сделали коммунистом!

Вскоре она поселилась в Доме Искусств, где и я жил. Ходила к большевикам проповедовать христианство. Ходила ко мне восхищаться А.Л. Волынским. Развенчала Волынского. Влюбилась в почтеннейшего Л.Г. Дейча. Глухота ее сильно увеличилась. Чтобы с ней говорить, надо было садиться рядом, вплотную. В ее огромной холодной комнате часами сживали они с Дейчем. Мариэтта рассказывала:

- Это святой старик! Он учит меня марксизму, а я его - христианству. А вы... бедный Владя, вы погибаете!

В то время я много писал стихов. Иногда, по старой памяти, показывал их Мариэтте. Она прочитывала, качала головой:

- Ваши стихи больше вас. Вы сами не понимаете того, что пишете. Когда-нибудь я вам объясню...

По обыкновению, кидалась она защищать угнетенных, помогать слабым - всегда невпопад. Возлюбила мерзкую, грязную бабу, одну из горничных. Получая много пайков, делилась с этой же горничной, которая была известна тем, что обкрадывала обитателей Дома Искусств, голодных писателей. Наконец, дочиста обокрала и Шагинян.

"Писательских" пайков было в Петербурге 25. Когда я туда перебрался, они были разобраны. Было решено дать мне паек Блока или Гумилева, а одного из них перевести на "ученый", так как они читали лекции в разных тогдашних институтах. Остановились на Гумилеве, что для него было даже выгодно, ибо "ученым" выдавалась одежда, которой писатели не получали.

Однажды, дня через два, сидели мы с Шагинян в приемной "Всемирной Литературы", у окна, на плетеном диванчике. Вошел Гумилев, неся какие-то щетки. Я спрашиваю:

- Что это у вас за щетки? Гумилев улыбается и отвечает:

- В Доме Ученых выдали. Ведь писательский паек у меня отняли, вот и приходится пробавляться щетками.

Это было вскоре после появления Мариэтты в Петербурге. Она услышала разговор и, когда Гумилев прошел мимо, спросила взволнованно:

- Владя, кто это?

- Гумилев.

- А почему у него отняли паек?

- Отдали другому.

- Кому?

- Мне.

- Владя, как вам не стыдно! И вы взяли?

- Ничего не поделаешь, Мариэтта: борьба за существование.

- Владя, это бессовестно!

Она готова была куда-то помчаться, протестовать, вступаться за Гумилева. Я с трудом объяснил ей, в чем дело. Успокоившись, она погладила меня по голове и сказала:

- Бедный Владя, вы все такой же заблудший.

А когда Гумилева убили, она не постеснялась административным путем выселить его вдову и занять гумилевские комнаты, вселив туда своих родственников... Тоже - с размаху и не подумав.

* * *

Все это вспомнилось мне по поводу фразы, которую Шагинян напечатала недавно в каком-то советском журнале: "Многие из нас, не поняв, что потеряли читателя, вообразили, что потеряли свободу".

По поводу этой фразы я слышал немало негодующих слов. Сама по себе она, конечно, отвратительна. Но я вспоминаю автора - и мне хочется улыбнуться. Не без горечи, может быть, - но все-таки улыбнуться.

Бедная Мариэтта! Она, несомненно, думает, будто к этой мысли пришла таким-то и таким-то путем, а высказала ее потому-то и потому-то. А я знаю, что "путей" никаких не было, а была и есть обычная путаница в ее голове. И фразу эту злосчастную, конечно, она не "высказала", а выпалила, по обычаю - невпопад, по обычаю - с чужих слов, которые она умеет повторять или развивать даже вовсе не без таланта.

Кто знает имя ее сегодняшнего кумира? И что сама она понимает в этом кумире? Под чью диктовку пишет она свои статьи, сама этого не замечая? Под чью диктовку будет писать их завтра?